**Монархия означающего**

**Алексей Плуцер-Сарно о мифологии российской власти**

**1. Наслаждение тираном**

В любом типе общества — и в демократическом, и в тоталитарном — субъекту жестко навязывается целый ряд «регалий». Ему говорят: тебя зовут так-то, ты царь природы, ты должен делать вот это и это, нужно ходить на работу, завести детей и добиться успеха. «Культура» отдает приказы: «ровняйсь», «смирно», «упал и отжался». Конечно, «культура» — понятие не вполне отрефлексированное. Лучше сказать, что в каждый текущий момент субъекту отдает приказы некий Другой, то есть символический авторитет, находящийся в его сознании, но воспринимаемый им в качестве внешней инстанции, именуемой то «культура», то «президент», то «господь». Какая же традиция (инстанция) стоит за этим Другим, мы затрудняемся сказать.

Пока в рабочем порядке будем считать, что именно этот мнимый Другой и навязывает субъекту всевозможные символы, детерминирующие повседневность. И один из этих символов — государь. Мы будем использовать условно слово «государь», а не «президент» потому что оно символически объединяет в себе человека (сударь), правителя (государь) и страну (государство). Итак, ему, государю, субъект приписывает образ себя самого, в то же время полагая, что перед ним Другой. Единственная разница в том, что в тоталитарном обществе «субъект принимает позицию объекта — инструмента удовольствия Другого»1. Именно в этой точке смены мест субъекта и объекта и таится различие этих двух социальных систем.

В России «государь» нужен реальному субъекту (народу) прежде всего для того, чтобы воображать себе его («государя»), чтобы через него обретать свои Желания, чтобы воображаемый «государь» говорил от лица реального субъекта (народа) и чтобы он признал свой народ, внеся тем самым, так сказать, успокоение в смятенную душу субъекта. Приоритет Воображаемого здесь очевиден, Реальное отходит на второй план.

В России «народ» нужен государю (как реальному субъекту) тоже, чтобы этот реальный государь мог воображать себе этот самый «народ», чтобы мог обретать свои Желания через это Воображаемое и чтобы воображаемый «народ» признал своего государя. То есть русский государь тоже имеет дело с Воображаемым, а не с Реальным. И через это Воображаемое обретает свою смещенную субъектность. Иначе говоря, будучи субъектом, принимает позицию объекта, занимает в пространстве Воображаемого место объекта народной любви. Соответственно, русский воображаемый «народ» дает Наслаждение реальному государю, конституируя его субъектность-объектность. Воображаемый «народ» для реального государя — это и есть Другой, от лица которого он и отдает приказы, интерпретируемые то как злодеяния, то как подвиги. Именно здесь кроется тайна российской «государственной» травмы.

Искать корни этой травмы в личностном, субъектом — бессмысленно. Применительно к любому государю его «психологический портрет не дает нам никакого ключа к пониманию тех ужасов, которые он вытворял»2. Российская социальная патология конструируется чаще всего не злодеями, а равнодушными бюрократами. Это не индивидуальная патология, а социо-символическая система, существующая в меру нашей убежденности в ее существовании, в ее необходимости. То есть, в конечном счете, субъект (народ) объективирует «государя» сначала как Воображаемое, а затем эта позиция может быть оккупирована Реальностью. И появляется государь во плоти и без кавычек.

Объективные социальные символы изначально порождаются только в той мере, в какой субъект (народ) верит в их существование. То есть для субъекта через воображаемого «государя» всегда говорит «объективно» существующая институция, которая, в свою очередь, объективна ровно настолько, насколько в нее верит субъект (народ). И государь существует ровно настолько, насколько мы делаем вид, что верим в его существование, насколько мы мыслим пространство в качестве неоднородного, имеющего центр. Для нас он субститутивен по отношению к субъектному «Я», находящемуся в центре мира. Субъект воспринимает мир примерно так: «Если есть мое „Я“, которое в центре мира, то, стало быть, мир имеет центр, и этот идеальный центр воплащен в государе, который самим фактом своего существования утверждает Реальность моего „Я“». То есть для реального субъекта воображаемый «государь» — конституирующая часть его «Я». А для реального государя все мы («народ») — часть его личной сферы, периферия его «Я». Вспомним, что в России опального боярина казнили зачастую вместе со всеми холопами и домочадцами. То есть все жители «непокорной вотчины» — это часть «субъектности» самого непокорного боярина, а он сам — часть «субъектности» государя. Права человека здесь по-своему соблюдаются, да только границы человеческой личности расширены так, что все холопы — это часть «субъектности» государя, а потому их права имеют субличностный статус. То есть получается, что это не права человека вовсе. Никто же не будет всерьез отстаивать права удаленного аппендикса или остриженных ногтей государя.

**2. Истории не может быть**

Российский государь структурируется в результате персонификации Места, т. е. наложения Воображаемого «центра мира» на Реально опредмеченный социально-символический конструкт, имеющий множество имен: вертикаль власти, порядок, Россия и т. д. И этот самый символический «порядок» в лице государя и призван защитить нас от травмы истинного ужаса, от вселенского хаоса. Государь — лишь последняя точка в социо-символической системе мифических повествований, именуемых российской Историей, которая точно также призвана заслонять от нас другую, Реальную Историю. И уже за символическим Реальным прячется несимволическая Реальность, та мучительная русская история, которую мы не можем и не желаем знать, потому что это ужас, которого символически не было и нет. Потому что этот ужас не может быть символизирован. Этой третьей русской истории не существует, что не мешает ей быть абсолютно правдивой именно в «не-существующей» ипостаси. Все это, по словам Жижека, «реальнее реальности»3. Все это — та самая истина, которой «не может быть».

Россия Реальная — это какая-то территория, где происходят какие-то удивительные события. Россия Воображаемая — это и место, где осуществляется История, и персонаж Истории, и ее инструмент. То есть она сама в предельном случае и есть История. Государь же в этой воображаемой модели мира стоит над Россией, управляет ею. История — это инструмент в его руках. Он — над государством, он олицетворяет собой коллективный разум, знающий законы исторического процесса. А посему он может и должен управлять Историей. Это одна из причин, почему в России История каждый раз переписывается заново при появлении нового Государя. Но для нас сейчас не так уж важно, кто кого символизирует в этой народной картине мира. История — это всегда область Воображаемого, никак не связанная с областью Реального. Для нас важно, что именно она, эта Воображаемая История скрывает другую, Реальную Историю. А уже дальше, за Реальным, прячется та самая Реальность, третья Россия, третья скрытая отозванная история, которую мы не можем символизировать в силу ее травматичности.

К примеру говоря, если в Воображаемом «жить становится лучше, жить становится веселей», то в Реальном — «Мы рубим лес и сталинские щепки / Как прежде во все стороны летят». Ну, а далее, в ужасе травматичной несимволизируемой Реальности мы не можем ни песен сложить, ни осознать весь этот кошмар допущения возможности не-существования моего здесь-бытия. Но когда речь идет о смерти субъекта, то он хотя бы может ужаснуться, но если речь идет о смерти миллионов, то попытка символизации наталкивается на невозможность математического умножения ужаса и на отсутствие самого ужаса, поскольку речь идет не о смерти субъекта, а о смерти объекта. Этому фундаментальному несимволизируемому «ужасу присущ какой-то оцепенелый покой. <...> И неопределенность того, перед чем и от чего берет нас ужас, есть не просто недостаток определенности, а принципиальная невозможность что бы то ни было определить. <...> Поскольку сущее в целом ускользает и надвигается прямое Ничто, перед его лицом умолкает всякое говорение с его „есть“. <...> там, перед чем и по поводу чего нас охватил ужас, не было, „собственно“, ничего. Так оно и есть: само Ничто — как таковое — явилось нам»4.

В российском контексте рефлексия над этим самым несимволизируемым Ничто вообще невозможна. Реальность здесь неосязаема. Объектом может быть только символическое Реальное, которое становится объектом описания для правозащитных организаций. Основная же деятельность государя проходит в сфере конструирования первой воображаемой Истории с помощью приказов, слов. «Непослушное» этим приказам Реальное воспринимается либо как результат невыполненного распоряжения, либо как ложь. «Совпадающее» с этими приказами Реальное воспринимается как результат этого приказа, т. е. как продукт речи, и в конечном счете, как отражение собственных мыслей государя. Управление государством превращается в процесс конструирования моделей, который метафорически воспринимается как оглядывание пространства с высоты этой самой вертикали власти, чем бы она ни символизировалась: Останкинской телебашней, космической ракетой, Спасской башней, колокольней Ивана Великого или самим государем.

В такой модели мира субъект (народ) более всего нуждается в символическом спасении, в чуде. Разумеется, вместо реального Спасения народу предлагается лицезрение могущества этих самых символизаций, то есть различных «вертикалей». Они, эти вертикали, и выполняют функцию Спасения, поскольку олицетворяют наступление порядка и отступление хаоса.

Конечно, приказы, распоряжения имеют важные символические функции. Их не обязательно, а порой и невозможно исполнять, но они продуцируют «доклады о готовности», «отчеты о результатах» и различные «рапорты». Ну, и в самом деле, ведь народ ждет не действий, а сообщений о действиях, о том, что «жить стало лучше». А государь ждет послушания и подчинения, а не «своеволия» и «самодеятельности». В такой ситуации социальные перемены затрагивают прежде всего символические ряды в сознании зрителей. Собственно, здесь, как в театре, действие разворачивается в воображаемом пространстве, здесь есть Реальное, но вообще нет места Реальности. Она вытесняется куда-то за хорошо охраняемые стены театра.

А поскольку мы имеем дело с символическими функциями, то и государство предстает как объективация думания государя. Мысля себя как страну, а страну как себя, мысля свою точку зрения как всеобщую, а Реальное как ее реализацию (т. е. опять же как «опредмечивание» собственных идей), государь становится главным генератором точек зрения. «Единство», «СПС», «Лебедь», «Родина» — это искусственно созданные точки зрения, это отражение взгляда власти на себя. Политическая эффективность заключается в рамки продуцирования новых интерпретаций. Даже новые партии творятся как электоральные взгляды самого государя на себя с заранее рассчитанными углами преломления точек зрения. Таким образом, «внешняя» точка зрения государя на себя самого оказывается «внутренней», т. е. вполне «мифологической». Власть живет в мире собственных метафор, большая часть которых мало изменилась за последние столетия. Образ политической реальности по-прежнему моделируется посредством набора архаических символов.

Кроме слова-приказа большую роль играют путешествия государя. Обычно народу сообщают, что государь-батюшка жив-здоров, т. е. существует, что он «переместился» в пространстве и уже потом «сказал» нечто. То есть отдал распоряжение, оплодотворил мир, и жизнь вокруг пошла. Движения государя как бы порождают движения жизни вокруг. Конечно, перемещения государя в пространстве условны, это своеобразный обряд, который обнаруживает «неподвижный характер власти»5. То же качество обнаруживают демонстрации, лишь задающие пространственный «вектор» идеологическому конструкту. Государь, даже передвигаясь физически, «метафизически» остается неподвижным центром Вселенной. А раз тело государя и тело государства совпадают, то в своих поездках властитель опять же вроде бы никуда и не едет, а просто осматривает собственное тело6.

Кроме того, перед нами еще и реализация метафоры о вездесущем оке власти. Око — никуда не едет, оно может и так появиться в любой точке пространства и все увидеть. Одновременно народ может тем самым убедиться, что государь действительно существует. Появление на публике, поездки — это еще и ответ на массовые страхи по поводу смерти государя, т. е. исчезновения «центра мира», означающего угрозу разупорядочивания.

Символический государь призван воздействовать на структуры коллективного воображаемого, т. е. оккупировать максимальное количество субличностных «полей» в роли Другого, т. е. именно в качестве инстанции речи, источника приказов. Впрочем, для самого государя Другим будет социально-символическая система, т. е. властная идеология, от лица которой он и отдает приказы и таким образом институциализирует ее в качестве источника речи, порядка. Тут и начинаются замкнутые круги ложных объективаций.

Государь как Другой — это часть «меня», т. е. одна из субличностей думающего о государе, инстанция «моей» речи, «моего» приказа. «Родина зовет», «государь повелел» — это и есть отсылка к субличностному Другому. Собственно, объективация государя возможна ровно настолько, насколько он уже является моим Другим. Очевидно, что человеческая личность представляет собой целый комплекс субличностей, каждая из которых способна участвовать в процессах символизации и десимволизации. Причем ни одна из этих субличностей «не знает» о существовании иных субличностей. То есть сама личность «действует» всегда от лица какой-либо одной из своих субличностей, а потому порой склонна отрицать «собственные» слова и поступки, приписывая их Другому как внешней инстанции. Но этот Другой всегда символичен и всегда в нас самих. Хотя видим мы его всегда внешним и несимволическим.

Интересно, что любые формы «реального» существования государя также онтологизируются в качестве речи. Любое движение тела, все экспликации его биологических процессов, все жесты, мимика означиваются зрителями в качестве высказываний. В этом смысле суровая инфернальность взгляда российского государя означивает полную свободу интерпретаций зрителя.

**3. Государь будет вертикален**

Субъект (народ) неизбежно очеловечивает весь этот воображаемый мир. В частности, тьму окружающего космоса он персонифицирует в образе некоего носителя Зла. Субъект (народ) вытесняет за пределы своей личностной сферы все, что интерпретируется как негативное и наделяет этими свойствами это самое персонифицированное мировое Зло. Государь как часть этого субъекта (т. е. в образе его же собственного Другого) восседает «вертикально» как бы в идеальном упорядоченном центре Вселенной, на перифериях которой наступает хаос, с которым он и призван бороться, и отдает приказы субъекту, как ему уничтожить этот самый хаос. То есть если, предположим, этот субъект — это сам государь, то ему остается только признать, что «периферийный хаос», «центральная вертикаль порядка» и даже сам государь (т. е. государь государя) — это все его собственные субличностные символические структуры.

В этом смысле мы можем сказать, что, к примеру, и кремлевские башни со звездами, и собор Василия Блаженного, и Ленин в Мавзолее, и все девять высотных зданий в Москве, и Пик Коммунизма, все шпили, колокольни, космические станции и все прочие объекты, символизирующие некую «вертикаль», — тождественны фигуре правителя. Ведь они изначально задумывались и строились как атрибуты могущества власти, т. е. как часть самой символической власти. А власть по своей природе символична. Стало быть, власть и состоит из всех этих символов, в том числе из государя и государства. Это все вещи, предметы власти, не олицетворяющие ее мощь, а являющиеся ею. И их утрата невозможна. В этом пространстве формулы «государь любит колокольню», «государь хотел быть подлодкой» или «государь будет вертикален» приобретают вполне определенные смыслы.

Не будем также забывать, что борьба с хаосом, наступающим на вертикаль власти, всегда велась исключительно на периферии «мира». Борьбу с хаосом всегда должен «возглавлять» государь. Это в массовом сознании придает ему черты героя, демиурга, попирающего мировое зло. В таком контексте отсутствие информации о прошлом государя, о его родословной представляется глубоко закономерным. Прошлое Творца — это тайна. У настоящего Демиурга не должно быть бабушки и дедушки. Он декларируется как создатель нового упорядоченного мира. А то, что располагается на периферии и за ее пределами, автоматически приобретает характеристики небытия. Мир хаоса — главный враг власти в борьбе за возрождение этой самой вечно стоящей вертикали.

Итак, власть сегодня по-прежнему зиждется на концептах вроде «центр»/«периферия», «верх»/«низ», «катастрофа»/«спасение», «смерть»/«возрождение», «вертикаль»/«горизонталь», «победа»/«поражение», «свой»/«чужой» и т. п. И периферийные катастрофы для нее — самые проблемные, где бы они ни происходили, на дне океана, в небесах, на южных границах, в подземельях метрополитена или на космических станциях. И все эти периферийные катастрофы генерируются этой самой идеей членения пространства на «центр»/«периферию». Метафора «периферии», производная от метафоры «государя» как центра, и порождает периферийный «хаос». Хотя бы потому, что чиновник, властвующий на «периферии», от осознания собственной «периферийности», «окраинности» задает правила существования отличные от правил «центра». Символика окраины и порождает идею «края» во всех сферах «реального». А идея «края» порождает ослабление «порядка» в его «государевом» понимании.

**4. Ритуальный бред**

Конечно, все это «мифологические» образы. И именно в силу своей «мифологичности» они наделяются качествами алогического, иррационального. Политика превращается в некую «ритуально-мифологическую» игру, «ритуальный бред», по выражению М. К. Мамардашвили7.

И эта символическая модель начинает работать. То есть действительно в России «ритуал» становится способом понимания мира и способом существования мира в его вполне «мифологических» формах.

В таком «ритуализированном» пространстве виновного настигнет не закон, а рука «ритуального» мстителя или божья кара. Что, в общем-то, — одно и то же. Ибо в этом воображаемом мире констатация близкой смерти заменяет и смертный приговор, и божий промысел, и сам факт смерти. В рамках ритуала функцию последовательных доказательств чьей-либо вины заменяет «обнаружение врага» с последующими ритуалами его изгнания из социума или уничтожения. Ну, а эта граница смерти, точнее, граница между миром живых, миром порядка, добра и миром смерти, хаоса и зла проходит именно через государя, поскольку именно он стоит на страже посюстороннего мира. Получается, что государь одновременно принадлежит и миру живых, и запредельному ужасу смерти. В этом двойственность образа русского государя, именно поэтому он должен быть равно ужасен и прекрасен. И именно в своей инфернальной ипостаси государь должен быть лишен «черт характера», «личностных качеств». Государь должен быть «вне» каких-либо выраженных «черт», явных человеческих эмоций. Его лицо — зеркало того самого несущего смерть и разрушение хаоса, с которым он борется. Его маска должна быть сурова, холодна и бесстрастна. Его взгляд должен символизировать тот потусторонний ужас и хаос, от которого он призван спасти свой народ. Это взгляд идеального Отца, Пантакратора. Чтобы быть любимым, государь должен быть обезличен, т. е. носить маску не-бытия. Отсюда понятно, почему одна из важнейших черт русского государя — это потусторонний взгляд, тот взгляд, о котором Жижек писал, что это «десубъективированный, пронизывающий насквозь взгляд, в котором тотальное бесстрастное равнодушие совпадает с жуткой напряженной фиксацией, такой, будто взгляд замерз, оказался обездвиженным от увиденного, от того, на что нельзя смотреть. Нет ничего удивительного в том, что в связи с этим взглядом вспоминают о голове Горгоны: помимо змеиных волос, ее отличает раскрытый, будто в шоке, застывший в удивленной неподвижности рот и пронзительный взгляд широко открытых глаз, уставившихся на неминуемый источник ужаса, чье положение совпадает с нашим, положением зрителя»8. Этот отраженный ужас и убивает нас. Взглянув в ее глаза, мы оказываемся в той точке пространства, куда она и смотрит, там, где этот «ужас» и расположен. То есть, попросту, зритель умирает, потому что оказывается в месте смерти, в ее позиции.

Собственно, в качестве источника этого ужаса моделируется народ (субъект). Тот народ, который, по выражению Д. А. Пригова, делится на «народ» и «не-народ». Именно этот «народ» видит отражение ужаса реальности в глазах государя, наблюдающего «не-народ». Но если субъекту сообщается, что ужас таится в нем, то в Реальном травматичным объектом оказывается сам государь. Он и есть зеркало ужаса и Ужас в одном лице. Он — хранитель травмы.

Перефразируя хайдеггеровское определение смерти, можно сказать, что идея любимого народом государя есть допущение возможности существования моего здесь-бытия как не-моего. Грубо говоря, речь идет об искусственной универсализации, объективации «Я». Государь говорит от лица «меня», он моя инстанция речи. И тогда мое здесь-бытие может существовать как не-мое. В каком-то смысле, это может быть вопрос готовности умереть за государя. Умереть вместо него, за него. Государь же аналогично «приносит свою жизнь на алтарь служения Отечеству». Взаимность этого «жертвоприношения» демонстрирует единство моего и не-моего во «мне».

Так государь лишается реальной телесности посредством переозначивания тела. И его собственная мимика может выполнять эту роль, своей инфернальной суровостью указывая на отсутствие тела. Он — не тело. Он — символическая вертикаль, задающая всю систему мировых координат. И государь как бы перемещается вниз по этой самой «оси Х», вочеловечивается на Земле, тем самым осуществляя свое предельное возвышение, и означивая безграничность своей вне-телесной личности. Он и летчик, и шахтер, и спасатель, все знает, все умеет, везде присутствует. И демиург, и герой в одном лице. Но именно благодаря своей деперсонализации, инфернальной десубъективации, он оказывается символом красоты, вообще репрезентативным символом Возвышенного.

**5. Там, где «может быть»**

Отношение к государю в России всегда разворачивалось в плоскости «Я люблю государя» и «Я не люблю государя». Тот, кого не любят, тем самым полностью удаляется из сложной системы символических связей. Это акт символической смерти индивидуума, отрицание самого факта его существования. Одновременно высказывание «я тебя не люблю» содержит еще и указание на фантазматический объект желания. Буквально: «я люблю кого-то, но не знаю кого, только знаю точно, что это не ты». Или: «ты рядом, поэтому я люблю не тебя, а кого-то другого, но не знаю, кого». В этом смысле высказывание «я тебя не люблю» абсолютно равноценно высказыванию «я тебя люблю». То есть любовь всегда направлена «мимо», на некую маску, а желание всегда метафорично, оно всегда смещает государя как объект любви оттуда, где его нет — туда, где его не может быть.

Сексуальное желание субъекта, конечно, тоже носит чисто знаковый характер. И для означивания (или онтологизации?) своих неоформленных желаний субъект как раз и прибегает к символизирующей потенции государя как Другого. Государь дарит означающие смутного наслаждения. Если же, наоборот, субъект сообщает, что «не любит государя», то он отвергает государя в его фаллическом образе («вертикаль власти»), как бы подвергает его символической кастрации. Инстанция государя в таком контексте не просто означивает объект желания, он сам становится центральным означающим, т. е. пространством существования всех символических рядов «мужественности». Упрощенно говоря, государь — это и есть центральное фаллическое означающее.

Лакан как-то сказал, что «быть желанным важнее, чем быть удовлетворенным»9. «Любимый» государь формализует область желанного, и в этой любви к нему субъект обретает в процессе взаимных символизаций собственную субъектность, собственную желанность. То есть обратная сторона высказывания «я люблю государя» — это «государь любит меня». Выборы в русском контексте — это взаимные признания в любви/ненависти. Точное определение этих отношений эксплицировано в знаменитой русской поговорке «нас ебут, а мы крепчаем».

Конечно, государь (в роли Другого, в позиции строгого судии, всесильного отца, карающей инстанции) — это часть личности только того субъекта, который считает его своим «государем». Или, наоборот, категорично отрицает это. Только в этих двух случаях государь оказывается одним из центральных означающих сознания данного субъекта, означающим его (не)желаний. Только в этом случае Другой формирует символические структуры личности субъекта.

**6. Принц хочет быть пустотой**

Человеку вообще свойственно редуцировать стремящееся к бесконечности количество желаемых объектов к образу некоего вожделенного Тела. То есть «государь» как тело выступает в символическом обличье некоего идеального объекта желания, субституирующего все многообразие вожделенного. Это и есть та пустота означающего, которая способна удовлетворить каждого. Самый отчетливый пример подобного означающего — это барашек в ящике из «Маленького Принца» Сент-Экзюпери. Маленький Принц оказался удовлетворенным только тогда, когда герой-повествователь нарисовал ему «пустой» ящик. И одержимый этим образом Маленький Принц принял его как знак всех своих желаний. Этот образ только на первый взгляд кажется бессмысленным. О подобным образе (рыжий лисий хвост) Бодрийяр писал, что он «абсурдный», «ничего не значащий», «абсолютно неправдоподобный», «бессмыслица», «пустое место, оставленное смыслом», «незначащее означающее», «полная ничтожность» и т. п.10 Наоборот, перед нами нечто крайне значимое, олицетворяющее все тайные желания мальчика.

Но в конце концов предельным содержанием такого рода пустотного означающего символа является Ничто. Желая кого-то, мы всегда желаем Ничто. То есть, по сути, мы желаем самого процесса подмены, переозначивания, сокрытия желаемого, можем желать признания желания, желания желания, требования желания, нового уровня символизации желания, его формализации или, напротив, десимволизации и лишения означающего. Но только не желать сам объект желания. Если же мы вдруг определим этот объект, он тут же распадется на новый план содержания и новый план выражения, начнется новый процесс переозначивания, сокрытия истинных смыслов, уничтожения их, отзыва, и создания новых масок, за которыми будет скрываться это самое иллюзорное объектное Ничто.

Таким образом, государь — это лишь симптом нашего желания Ничто, нашего ужаса травмы. И как симптом он обращен к пустоте. Эксплицируемое им в каждый текущий момент содержание является лишь подменой, за которой и прячется это самое Ничто. Он существует ровно настолько, насколько субъекты воспринимают его в качестве такового. В предельном случае он — симптом нашего же эгоцентризма, нашей любви/ненависти к абсолютному пустотному центру мира.

**7. Ужас реальности**

Итак, власть предлагает народу Воображаемое, призванное защитить народ от ужаса жестокой Реальности, не поддающейся пониманию. Весь этот воображаемый символический скафандр делает реальность пригодной для обитания. Власть предлагает народу спасительный обман, воображаемую безопасность. Это то, что Жижек в другом контексте назвал «фантазматическим щитом»: «Фантазматический щит — лишь великодушная выдумка, позволяющая сыну установить соглашение с грубой реальностью. Отец не защищает сына от жестоких реалий лагеря, но лишь окружает его символическим вымыслом, который делает реальность терпимой»11.

Собственно, выборы в такой системе призваны не столько осуществлять реальный выбор, сколько упорядочивать систему с помощью успокаивающего выбора одного-единственного и неизбежного: «...фундаментальная функция защищающего отца: под предлогом (фальшивого) выбора он дает субъекту-сыну свободно выбирать неизбежное...»12 Государь и есть этот самый Другой, защищающий отец. Это и есть навязывание желания Другого, который обещает сделать реальность терпимой, успокаивая народ в ситуации безнадежности выбора.

Вся эта символическая борьба с невыносимой реальностью хаоса дает субъекту ощущение уверенности, покоя и стабильности. Никакого другого пути к Реальному, кроме как через эту символическую оберегающую оболочку, нет: «Нам не дано приблизится к Реальному иначе (в любой плоскости, не только в плоскости познавательной), нежели посредством Символического»13.

Именно поэтому мы и рассматриваем некие символические ряды, именуемые условно «государем». Исследователи, которые пытаются наделить реального государя некими характеристиками, качествами, просто «проецируют его в Реальное, воображая при этом, что именно элементы Реального принимаются ими, таким образом, в расчет. На самом же деле это всего-навсего тот символизм, который они заставляют в Реальном функционировать...»14 Здесь происходит подмена. Хотя, конечно, любое указание на объект желания субститутивно. То есть желание поддается означиванию только посредством подмены означающего, только через процесс переозначивания. Если кто-то говорит «я люблю государя», то тем самым он опять-таки лишь переводит его из плоскости Воображаемого в плоскость Реального.

**8. Государь как фаллос**

Как фаллическое означающее «государь» создает саму возможность любви. Во всех этих процессах символизации он, конечно же, связан с фаллическим означающим и в этом контексте может интерпретироваться как: а) фаллос как таковой; б) объект кастрации, т. е. удаленный фаллос; в) инструмент кастрации, тот, кто имеет власть кастрировать; г) место, где происходит сам акт кастрации, казни; д) чистая форма вообще любой «фалличности», «мужественности».

У всякого означающего, как известно, есть свойство быть отозванным, свойство «опустошаться», становиться тайным, вытесненным. Как означающее государь тоже является чем-то тайным, скрытым, отозванным. Это тайный человек, спрятанный за самим собой, за кулисами собственного тела, двойник себя самого. Да и вся российская политика — закулисна в идеальном смысле. Обе палаты парламента, правительство, премьер, общественные организации, телевидение — это тотальная декорация, за которой сокрыта тайна Реального русской политики. Причем тайное и явное в России поменялись местами. К примеру, российский премьер может быть «маской» для реально «разруливающих» политику лиц, стоящих за ним. По сути, чиновники всех уровней делегируются определенными властными группами в качестве исполнителей поручений, в роли декоративной ширмы для реальной политической деятельности. Упрощая, можно было бы сказать, что российская политика по-прежнему носит подпольный, в ленинском смысле, характер. Структура власти по-прежнему сохраняется как тайна. У нее есть и публичная часть, но большая часть айсберга сокрыта от глаз непосвященных. То есть власть анонимна в лице собственного тайного двойника. Она представляет собой двойственный символ, указывающий на наличие своей скрытой тайной части, вытесненной из поля зрения. Персоналии здесь — лишь маска, за которой угадывается истина.

Упрощая, можно сказать, что Россия сегодня — тайное государство, где либеральное оказывается, как это ни парадоксально, «надводной» частью тоталитарного. И государь здесь — точка соприкосновения либерального и тоталитарного, воображаемого и реального, хаоса и порядка, жизни и смерти. Может быть, тайное — неудачное слово, точнее было бы назвать его «постмодернистским», потому что речь идет о государстве в государстве, тексте в тексте, но, к сожалению, этот термин тоже лишен «денотативного» смысла.

Все это делает подобное социальное пространство крайне сложным для восприятия и интерпретации. Именно поэтому о России пишут либо инвективы, либо апологии. Но все это мало что дает для понимания травматичности происходящего.

Итак, государь — некая воображаемая субличность, важнейший субъектный символ. И в своей «центральной» позиции он соотносится с «Я» субъекта, которое тоже является субъектным символом: «Собственное Я, функция воображаемая, участвует в психической жизни исключительно в качестве символа»15. Однако собственно политическая проблема заключается в том, что одно сознание может вообразить себе другое сознание только в качестве чего-то третьего. Дело не в том, что «одно сознание не может представить себе другое, а в том, что Я, всецело определяемое формой единства другого Я, принципиально несовместимо с ним в плане желания»16. Воображая себя всегда как кого-то третьего, мы не можем получить наслаждение от «обладания» любимым государем. Обладание желаемым в такой схеме полностью исключено. Желаемое будет присвоено государем, сам же он не может быть присвоен нами. То есть государь и не может быть ничем, кроме тайны.

Мы пришли к тому, что русский государь — это идеальная символическая форма, которая может содержать в себе все прочие символические ряды. То есть перед нами форма, содержанием которой могут быть опять же формы, лишенные содержаний: «Означающее действительно обладает замечательным свойством: оно может содержать в себе конкретное означающее, знаменующее собой возникновение означающего как такового»17. Таким образом, как означающее государь также пустотен, как аплодисменты, улыбки, вагина, дары или смерть. Если рассматривать государя в качестве субъекта, то отсюда следует, что он — никто: «Субъект — это никто. Он разложен, расчленен. И он блокируется, вбирается в себя либо образом другого, одновременно обманчивым и уже реализованным, либо собственным образом в зеркале. Там, в этом образе он обретает единство»18. А Другой для государя — это мы сами.

Можно, конечно, возразить, что означающее «государь» относится к коллективному, а не к индивидуальному. Но, по Лакану, «коллективное и индивидуальное — это, строго говоря, одно и то же»19. То есть государь в Кремле и государь в моей голове — это фигуры символически идентичные.

**9. Любовь к травме**

Но тогда данный текст представляет собой своего рода снятие масок с некоторых наших субличностей, восстановление законных прав Другого автора. Но тогда это не аналитика: «...всякая наука, всякая реальность, всякое производство только и делают, что отсрочивают миг соблазна, который в форме бессмыслицы, чувственной и сверхчувственной бессмыслицы, сверкает на небе их собственного желания»20.

Конечно, эпистемологическое отделение от объектов познания эксплицируется лишь в принадлежности к разным традициям. В этом смысле не исключено, что любой, предположим аналитический, подход тоже выполняет определенные «ритуальные» функции. И «автор» данной заметки неизбежно оказывается в том же ряду «мифологизаций».

Думая о «государе» как означающем символе, мы себя же им и означиваем. Но тогда наши рассуждения мифологичны. Еще А. М. Пятигорский в «Лекциях по феноменологии мифа» говорил о том, что научное знание не может избавиться от мифологичности: «...миф о человеке есть миф о знании, с одной стороны, а с другой — миф о знании редуцируется к человеческому образу. Это приводит нас к размышлениям о мифологичности так называемой „научной“ антропологии, включая сюда и любую антропологическую философию. Человек — точнее, „изучаемый, наблюдаемый человек“ как одно из выражений понятия „другого человека вообще“ — это не только одна из научно-философских фикций эпохи Просвящения. Это еще и сложный в своей композиции миф, непроницаемый для опыта современного антрополога или философа. Сложный, потому что за интуитивно мыслимым образом „человека“, образом конечным и определенным, то есть не допускающим при всех возможных изменениях трансформации в „не-человека“ <...>, стоит идея „человека вообще“, то есть иного, чем индивидуальность, моя или любого другого человека»21. Человек, в конечном счете, это лишь означаемое некоей «мифологической» структуры сознания. Причем рефлексия не помогает нам деконструировать эти «мифологические» структуры сознания, а напротив, прячет их от нас. Рефлексия, как это ни парадоксально, оказывается функцией этих самых «мифологических» структур сознания, т. е. их частью, а не чем-то внешним, неким посторонним исследовательским инструментом, с помощью которого их можно вскрыть и понять. Естественно, что хирург не может оперировать аппендицит с помощью пениса или другой части тела.

Ровно в той степени, в которой наша неотрефлексированная рефлексия пытается констатировать наше знание о государе как сугубо «человеческое», ровно в этой самой степени она, эта мысль, мифологична. Типологически мифологична, т. е. строится по образцу мифа, в том его значении, о котором говорил А. М. Пятигорский во введении к курсу лекций22. В своем мышлении о государе, о его означивающих функциях, мы, естественно, означиваем с помощью «государя» свои собственные символические пространства. Наши мысли о нем — это и есть мы сами, не отделенные от него в этом процессе мышления. Государь как означающее вскрывает воображаемость субъекта и тем самым как бы упраздняет его.

То есть в процессе написания данного текста автор не столько приблизился к пониманию символики «государя», сколько пытался избавиться от фантазматического щита, выбраться за пределы символического Реального в запредельный ужас несимволизированной Реальности, где нет никакого государя. При том, что этот запредельный ужас опять-таки существуют в воображении. А все жертвы вокруг — это лишь способ, которым он утверждается в качестве Реальности.

**Список литературы**

1 Виктор Мазин. Жижек и его другие // Славой Жижек. Хрупкий абсолют, или Почему стоит бороться за христианское наследие. М., 2003. С. 14.

2 Там же. С. 104.

3 Там же. С. 118.

4 Мартин Хайдеггер. Что такое метафизика // Мартин Хайдеггер. Время и бытие. М., 1993. С. 21.

5 Выражение Виталия Куренного.

6 Как тонко подметил Виталий Куренной, частые «физические» передвижения в таком контексте предстают как «осмотр тяжелобольного».

7 М. К. Мамардашвили. Эстетика мышления. М., 2000. С. 158.

8 Славой Жижек. Хрупкий абсолют... С. 100.

9 Жак Лакан. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. Семинары. Кн. 5. М., 2002. С. 298.

10 Жан Бодрийяр. Соблазн. М., 2000. С. 139—141.

11 Славой Жижек. Хрупкий абсолют... С. 107.

12 Там же. С. 107.

13 Жак Лакан. Образования бессознательного. Семинары. Кн. 2. М., 1999. С. 143.

14 Там же. С. 143.

15 Там же. С. 59.

16 Там же. С. 77.

17 Жак Лакан. «Я» в теории Фрейда и в технике психоанализа. Семинары. Кн. 5. С. 298.

18 Жак Лакан. Образования бессознательного Семинары. Кн. 2. С. 81.

19 Там же. С. 48.

20 Жан Бодрийяр. Соблазн. С. 132.

21 А. М. Пятигорский. Мифологические размышления: Лекции по феноменологии мифа. М., 1996. С. 14.

22 Там же. С. 15